Alexander Tsipko, interview with Philip Boobbyer, Moscow January 1998, transcript in Russian and summary in English

….

Ц.: … Дробницкого взять, она появилась как раз, очень знаменательно, он покойный, разбился, в 70-м году и это был какой-то такой переломный момент в нашем философском сознании, как основной импульс морали, что-то в этом слове, т.е. это была диссертация, которая абсолютно не укладывалась ни в какие марксистские рамки.

Ф.: Как его звали?

Ц.: Олег Григорьевич Дробницкий, ты обязательно, если ты будешь делать книгу... Он погиб. И еще, что надо дома будет найти, когда ты приедешь, это «Актуальные проблемы марксистской этики» - эта книга вышла в Тбилиси в 68-м году под редакцией Бандзеладзе, где была опубликована значитильная часть работы Мильнера Еринина. И она называлась «Совесть или жить согласно моральным законам последнего дня». Ну, это старая, в общем, концепция.

Ф.: Как его звали?

Ц.: Мильнер Еринин. Он умер, но в советское время был безвестный человек. И конечно возьми Григория Самуиловича Померанца книгу о Достоевском. Он как раз приехал тогда на конференцию, когда я был в Японии в наше Ко.
Я думаю, что тема это наиболее благодарная, потому что, практически, кризис советской системы, как мне думается, начал реально происходить в сфере идеологии, в сфере сознания, когда парадигма совести стала доминировать в литературе, и можно сказать, в кино. Это период, конечно, Хрущевской «оттепели». Сама десталинизация, потому что смысл десталинизации не был просто в том, чтобы сказать, как было страшно при репрессиях, это была смена нравственной парадигмы, Ведь Сталинские репрессии ни чем не отличались от Ленинских репрессий и репрессий господина Троцкого, и Каменьева и Зиновьева – они были все репрессии, которые существовали в парадигме классового подхода. И вся структура советского сознания, советской морали и, практически, сердцевина, если можно сказать, что политической сердцевиной советской системы была система КГБ, то идеологической сердцевиной был марксизм, только не в плане веры в коммунизм - это все преувеличино, а в плане классового подхода. И я думаю, что разрушение начало происходить, когда был этот прорыв. И тут, кстати, прорыв начал происходить, хотя на Западе не любят наших почвенников, считают их националистами, хотя реально для разрушения советской системы куда больше сделали почвенники, чем 60-сятники, потому что все 60-сятники это были в общем-то социал-демократы.

Ф.: Ну, например, каких почвенников Вы имеете в виду?

Ц.: Ну, пожалуйста, все почвенники появились в этот период – Залыгин, Виктор Астафьев, когда он был почвенник. Потом вот, как вот этот Архангельский писатель.

По-крайней мере вот эти писатели, а потом, конечно, появляется целая плеяда – там, Валентин Распутин, Василий Белов, публицист, Личутин тоже, но это позже, он моложе. Но целая-то школа, потому что она была противоречива. Но по-крайней мере, к Виктору Астафьеву это не относится, к Распутину не относится, и к Василию Белову тоже. Они не сталинисты. Другое дело, что было очень много этих сталинистов, ну таких, литературных критиков – их было очень много, которые с одной стороны были антикоммунисты, с другой – сталинисты. Наиболее яркий тип такой вот был Щавелихин, потом Чалмаев, Сережа Симанов, т.е. они стояли в парадигме такого вот… Ну они конечно все были антикоммунисты. Но вот эта литература, почвенническая литература и наиболее яркое произведение я считаю это «Прощание с Матерой» и «Живи и помни» Валентина Распутина – это, конечно же, был прорыв. И, кстати, вот я… И там вот у Валентина Распутьина, это надо будет посмлтреть, хотя это уже конечно 72-й год, по-моему, но есть исключительно разговор этой старухи Дарьи со своим там по-моему племянником и это абсолютно точно напоминает «Вехи». Я вообще абсолютно помню вот эту первую, даже не первую главу, ктати у Бердяева она плохая глава, намного лучше у Сергея Булгакова эта статья… Вот, и там есть поразительный текст, полностью напоминающий слова Сергея – кстати, у Франка там тоже есть эта мысль, что классовая мораль, оценивая таким широким машинам, что человеческая совесть и поведение человека невозможно оценить. И Я думаю, что Валентин Распутин не читал «Вехи», нет, не читал – это я голову отдаю на отрез, я у него тогда спрашивал, не знал он тогда «Вехи». И я вот тогда думаю вот этот прорыв понятия совести, т.е. оценки личного поведения человека с точки зрения христианской морали – не убий, и с точки зрения покаяния совести и т.д., я думаю, что прорыв здесь произошел. И потом происходит совершенно поразительная вещь, которую никто по-моему толком не опишет со всей этой советской идеологией. Существует советская система, в школе учат Марксизм-Ленинизм и т.д. и т.д., но литература и кино, ну, конечно есть фильмы про Гражданскую войну, но по-крайней мере, литература живет по закоеам совершенно иной парадигмы – уходит парадигма классовой морали, и что надо стрелять человека только за то, что он «кулак», что он там буржуй, она ушла, и вся эта громадная литература, вот которая, я повторяю, появилась в это время – конец 60-х, забыл этого писателя, но не важно. Потом вспомним, в конце концов решающей фигурой был вот этот молодой Валентин Распутин, который не занимался… Шукшин – пожалуйста. Вот у Шукшина есть гениальный рассказ, вот эта парадигма совести – «Верую», «я верую и все» – это смена парадигмы, это переход на чисто религиозную, вот так и называется рассказ «Верую» и никакие там… Эта как у Тортулиана, «верую, потому что абсурдно и потому что абсордно, я верую». Дословно же Тортулиан. Это вот такое самоощущение. Дальше, по-моему, это уже шло по инерции, самораспад произошел. Если бы я изучал эту проблему, а Вы будете все-такиписать о ней, конечно тут существует уйма таких серьезных проблем. Почему я говорю, что это важно, что эта «левая», даже прозападная такая, немного с налетом космополитичекого социал-демократии, которая был вокруг «Нового Мира», ну типа Лакшина, они все-таки ленинисты, они все-таки живут – «вот, Сталин был зверь, он убивал, расстреливал, а вот Ленин и его команда – они делали важное дело. И вот я думаю, что прорыв как раз здесь. Другое дело, тут проблема, почему люди, которые прорвали советскую систему не оказались у власти? Этот вопрос и ко мне тоже относится, почему я, который первый выступил против Марксизма-Ленинизма, я все время на обочине, а люди, которые боялись, дрожали в 87-м году, почему они сейчас такие великие герои? Это

другая проблема. Почему мы проиграли, вообще перестройщики проиграли и эти тоже люди проиграли, а выиграли люди, в общем-то, довольно левых и марксистских убеждений – это другая проблема, потому что, в конце в концов, можно легко показать, что наши либералы не столько верят в Фрид, сколько верят в маркса и это видно – пойдите в Институт Гайдара и поговорите … И Володя Махой скажет, что я марксист.

Ф.: То, что мне особенно интересно – это то, как формировалась Ваша совесть. Что было самым сильным влиянием на Вас? Потому что это очень интересно видеть, вот, что как бы в подполье совесткой жизни, как сохраняется русская совесть?

Ц.: Это же… Ну, во-первых, честно говоря, об этом неудобно говорить, но, кстати, странно, меня только что мучили с этим вопросом … Я думаю, что это, честно говоря, совесть – это инстинкт, это инстинкт чисто духовной, моральной реакции. Или у тебя есть душа, или нет души – и в любое время. Это ощущение моральной открытости к миру и ощзущение сострадания и страх делать другому человеку зло, и отвращение к насилию – это чисто врожденное. Она никогда не воспитывалась, она абсолютно. Другое дело, что это должно проявиться, но оно проявилось, наверное, связанное с каким-то моими личными биографическими вещами, как я оказался после войны в очень таком страшном положении, в общем не буду все рассказывать, перемещенная личность. Я вернулся в Россию в 49-м году, хотя родился я здесь в 41-м. И вот эти все муки, т.к. я не был еврей и не был в Гето, конечно, но я был мальчик, который знал это. Мы жили в Германии, в Румынии – я прошел всю войну ребенком.

Ф.: Ваш отец был солдатом?

Ц.: Нет, это было просто потому что они были интернированные люди, когда немцы в 43-м всех семей забирали. Другое дело, там потом была трагедия всей семьи, но сейчас мы реабилитированы, все в порядке, но тогда в Сатлинские времена даже пленных отдавали. Они были репрессированы все. Поэтому это же была общая беда, пол Европы русских ходило, между нами говоря. Я отношусь к этим людям, это мальчики, которые с двух лет уже все помнят. Поэтому, это так сказать, такое обостренное, ну просто уж очень много страданий, унижений. Просто система, ты же оказываешься. Другое дело, что я не помню зла никакого, но это проблема личного духовного опыта, то я не из благополучных. Может быть дети вырастающие в благополучных советских семьях – карьерные люди, хотя там тоже… Я полагаю фактор совести это вражденная вещь, это не проблема среды, но у меня это, конечно, проблема просто вот ребенка Второй Мировой Войны.

Ф.: Была ли культура в Вашей семье, когда Вы воспитывались, были ли разговоры о религии, откровенные разговоры?

Ц.: Абсолютно все было откровенно.Но, во-первых, не надо конечно забывать, что я родился в Одессе, потом вернулся в Одессу. Родился в 41-м, потом вернулся в 49-м. 14 апреля 1949 года – этот день я прекрасно помню. Конечно совествкую систему никто не принимал. Одесса вообще не приняла. Вот это не понимают наши идиоты, которые говорят, что может быть я знаю где-то, может быть где-то видел. В Одессе я ни в жизни

не встретил вообще человека, который бы верил в то, что коммунистическая система лучше, чем частнособственическая. Ну это понятно, это просто торговый город с очень такими традициями польскими, еврейскими и такими космополитическими, настоящими, поэтому это просто… Кстати вот, это не только Одесса, я думаю, что в какой-то мере это относится ко всем городам юга, это относится и к Сочи…

Ф.: И это влияло?

Ц.: Это громадное, потому что вся среда антикоммунистическая, еще в 49-м при Сталине я это хорошо помню. Ну, конечно, это еще проблема такого личного опыта. Значит, когда я приехал… Тоже странная ситуация была, потому что один дедушка был все-таки в ЧК с фамилией – это фамилия моей матери. А второй дедушка, вот фамилию которого я нашу и даже национальность украинец, хотя я всего лишь на четверть украинец, но так уж мама меня записала, поэтому я украинец, хотя, конечно, если я буду менять паспорт я поставлю «русский», потому что это я больше, конечно. Вот, это проблема в этой среды Одессы.

Там кто остался? Остались очень многие, так сказать, недобитые «беляки» и вот у деда моего, крестьянина, которого я ношу фамилию, значит, дома собирались каждый вечер – полковник Царской Армии Коленбелевский, герой Порт Артура, стацкий советник Кашин, ну потом, этот хитрый мой дед по линии отца, этот чикист все равно приходил – ну, они друг другу доверяли. Конечно, это была абсолютно антисоветская антикоммунистическая среда. Эти люди каждый вечер болтали. Жили очень бедно. Коленбелевскому было уже тогда 80 лет, а там единственное что бабушка моя готовила им кашу и чай – ну, жили очень бедно, безумно юедно жили, т.е. нищиту, которую я пережил – это не дай Бог, это на гране голода все время. Это была постоянно жизнь на грани голода, иногда такого голода, что куска хлеба не было.

О чем эти люди вспоминали? Они вспоминали только о том – ну, они, конечно, жалели меня, но прекрасно знали, что я не тот, который вот так зайдет там, ни Павлик Морозов, но там в Одессе павлика Морозова вообще не может быть. А они, естественно, говорили о том, что какая глупость – даже моц дед-чикист об этом говорил – какая глупость, что разрушили сами Россию, убили Россию, что настоящая жизнь была только – эти люди вспоминали хорошо, естесвенно, о своей молодости до 17-го года, и, кстати, хорошо вспоминали о НЭПе. НЭПе даже было хорошее у этих людей, даже у этих двух белогвардейцев. Кашин был действительно белогвардейский офицер, как я не знаю, но спрятался чудом. На переферии Империи люди всегда как-то, они хорошо вспоминали об этом ленинском периоде НЭПовском, что это все-таки был разумный путь, а все остальное – кошмар. Как говорила моя бабушка, «дни голодного сталинского кошмара». И весь этот сталинский период не было этого там какойто там индустриализации, может быть это было в каких-то других местах. Это был как сплошной кошмар и люди как скрывались, вот вечерами еще приходил я забыл тоже один какой-то там старый царский полковник. Это была старая Россия, поэтому мои статьи – это типичное, я во времени моложе, но я тот человек, который родился в 1880-м году или в 1870-м. И весь их жизненый опыт, все их мироощущение.

Ф.: Вы помните это?

Ц.: Конечно помню, мы же были дети очень политизированные. Я конечно сидел молчал, что я мог…

Ф.: Сколько Вам было лет?

Ц.: Уже 8, 9, 10, 11. Другое дело, что когда я поступил в техникум уже мой дедушка умер и начиналась новая жизнь такая, как у всех советская. Все равно все вступали в комсомол и появился инстинкт самозащиты, чтобы сохранить себя. Ты уже начинаешь больше жить по тем правилам игры.

Ф.: Можно описать это? Это были конфлликты?..

Ц.: Да, ну это не были конфликты, но, к сожалению, нельзя сказать, что это были внутренние конфликты с совестью, что ты поступал вопреки своему убеждению – это все наного сложнее. Как хитро устроено, конечно, человеческое сознание: оно, да, говорит, что это конечно было страшно, что это был кошмар и что советская система ушла, но в конце концов надо работать и что-то делать. И поэтому комсомол и все организационные дела, вот нужно сожать деревья, допустим, ну, вот что мы все делали в молодости? Ну, металлолом собирали. Т.е. вот это что-то конкретное. Выделялось… хитро человеческое сознание устроено, оно уже в советской жизни выделяло то, что было конструктивно и созидательно, и вот поэтому не было разрыва между твоим личным, которое понимает, что эта система обречена, другое дело, что никто не верил, что при нашей жизни.

Ф.: Ну это было трудно для Вас держать, как бы, вот эти два момента внутри?

Ц.: Трудно, это было трудно, это всегда давалось нелегко, потому что все время соскальзывало в какой-то такой компромис. Но это был компромис выживания. Ты же не хочешь идти в тюрьму, да и выступить завтра… Хотя тут еще надо понимать так, что на молодость попал период разоблачения Сталина в XX Съезд, 56-й год, и тогда – это очень хитрая вещь, поэтому система и продержалась. Кстати, разоблачения Сталина продержали советскую систему, а не… почему, потому что тогда все моральное мышление в моральных категориях в какой-то степени оно формировалось в рамках официального сознания, в рамках официальной идеологии, что было плоэо, нельзя было расстреливать и т.д. и т.д.

Поэтому это такая очень сложная вещь, тут надо различать, что все, я вообще глубоко убежден, что вот, так сказать, «оттепель» не подарвало советскую систему, а «оттепель» ее продлило, потому что это раздвоенное сознание между таким классическим идеологическим сознанием и нравственным подходом она сделала фактом существования открытой политики, это начало существовать. Ну, посмотрите фильмы «Летят журавли», «Чистое небо» - уйма этих фильмов нашей молодости, которые пронзительны, они нравственны. Вот особенно посмотрите фильм «Летят журавли» - это гениальный же фильм.

И что получилось, что этот конфликт, по-крайней мере может быть для людей, которые старше меня у них может быть он более продолжительный, более страшный, поэтому

многие студенты не выдерживали в конце 40-х, попадали в тюрьму и т.д. Но мы, которые начинали где-то нам было 16-17 лет нам было уже в конце 50-х, мы попали в очень хорошую атмосферу, что все, что плохое ты говоришь о системе при помощи слова осуждений приступлений культа личности Сталина. Вот происходил такой вот поразительный феномен, во такого вот выхода антисистемных взглядов при помощи якобы утверждения системы. Но при этом при учете этой такой глупости, что Сталин – это самое страшное, что если бы не Сталин, то было бы лучше и т.д. Но на этом все держалось. И кстати вот здесь надо тоже обратить внимание, я не знаю, где-то по-моему сейчас в Штатах должна выйти книга, там у меня есть два печатных листа на эту тему, тут еще такая вещь, что вот этот молодой Маркс, он не разрушил марксизм, он, напротив, продолжил марксизм, потому что вся эта утопия с молодым Марксом, с философско-экономической рукописью 44-го года и все книги, которые начали появляться с 60-го, они идеализировали, романтизировали – теперь это смешно, взять тексты Маркса, да какой там гуманист? Нет там даже в молодом Марксе ни грамма никакого гуманизма. Но это была операция сознания, когда вот этого молодого Маркса, где якобы проблема личности, но там нигдае нет проблемы совести, там все пронизано ненавистью к буржуазному обществу и буржуазным ценностям, а тем не менее, целое поколение, сначала 60-е аж до перестройки и 25 лет, а вот у Ивана Фролова – это классическое воплощение, они таким образом продливали веру в марксизм. А Горбачев, мой главный с ним конфликт, когда к нему пришел Иван Фролов помощником и я уже из ЦК уходил по многим соображениям, но что вот эта глупость, что Иван Фролов стал плмощником Горбачева и начал вот эту парадигму подлинного, чистого, истинного марксизма, незамутненного и т.д. и т.д. Поэтому, если исследовать механизмы сосуществования вот этой парадигмы моральной оценки с официальной, с 56-го года было уйма вполне легальным способом сохранить себя более менее как моральное существо не уступая, хотя компромис был.

Ф.: Вы можете вспомнить моменты, которые были особенно важны в формировании Вашей совести – кризисы, проблемы компромиса, какие-то книги, которые особенно повлияли на Вас? Потому что есть пробуждение совести.

Ц.: Нет, это есть это очень просто. Проблема человеческого страдания. Значит, дом моего дедушки был напротив Института Филатова – это клиника глазных болезней. Ну, вот, это знаменитая, я Вам сейчас нарисую: вот Французский бульвар, вот Интситут Филатова, здесь вот дорога – спуск к морю, всего лишь там 200 метров, здесь санаторий Чувырина, здесь было пустое место и вот здесь дом моего деда. Вообще странно, это был гектар, ну, так как он был крестьянин, такой садовник-самоучка, его не трогали в совесткие времена и этот дом никто не забрал. Так вот, со всей страны приходили вот эти слепые люди, а я помню мальчиком, вот это, кстати, очень хорошее ощущение, очень важное ощущение… А вот здесь была такая дорожка и кусты сирени, что-то я там сидел, типа песочницы, короче говоря, в пыли сидел. И вот отсюда двигались эти слепые, которые искали, где им переночевать, потому что им надо долго ждать и т.д. И вот это обилие слепых и поколеченых людей оно у меня вызвало абсолютнуб реакцию нежелания помочь этим людям, нежелание сострадания, потому что совесть это сострадание. Поэтому в моей личной биографии сыграло роль вот это обилие несчастных, поколеченых людей.

Ф.: Сколько лет это было?

Ц.: Это давно было, пока я сформировался как человек, я жил с 49-го по 60-й год, 11 лет, пока я не пошел в армию. Но само это ощущение складывается рано, вот это близкое соприкосновение. Кстати, возможно 2 реакции. У некоторых людей возможна реакция приспосабливания к чужой боли, он устает, а у некоторых, наоборот, открывается душа. Вот эти вот больные, поколеченые, идут с палочкой, бедные, нищие, представляешь себе после войны? Вот это было самым главный мотив пробуждения вот, сталкновение с обилием слепых, несчастных людей.

Ф.: И когда Вы начали делать карьеру, какая профессия это была в начале?

Ц.: Это философский факультет МГУ. Понятно, что там как инстинкт подсказывал, что с таким типом сознания надо было идти только на философский факультет. И второе, конечно, сильное потрясение, это русский идеализм и «Вехи».

Ф.: Когда Вы читали «Вехи»?

Ц.: Это был уже 64-й год, когда я был студентом МГУ, второй курс.

Ф.: И это повлияло на Вас?

Ц.: Это было громадное потрясение.

Ф.: И как Вы достали книги?

Ц.: Это было открыто в библиотеке, пожалуйста. На Горьковке наша библиотека. Мы же учились на Маховой, рядом с почтамтом, где сейчас психологический факультет МГУ. Пожалуйста. Вот, кстати, насколько это была тоталитарная… Это не было до конца тоталитарной системой. Студенты философского факультета, да, это самое смешное, что дурацкие книги Эриха Фрома, простите меня … ну это довольно наивные книги, это надо было идти в спецхран. Да, надо идти разрешение брать в специльный отдел, идти в библиотеку Ленина, сидеть в комнате. А, значит, Бердяева, Франка, особенно конечно опасен Сергей Булгаков – «Град Божий» – это сборник от марксизму к идеализму, но представляешь, дадут тебе это, студенту второго курса – все, это конец, нет уже ничего.

Ф.: Так Вы не верили в марксизм?

Ц.: Не верил, никак.

Ф.: Вы когда-то верили?

Ц.: Никогда. Я пережил вот какой-то был период, это была общая мода, увлечение молодым Марксом – «Теория отчуждения», четыре формы отчуждения, и вот моя книга 74-го года «Оптимизм истории», во многом написано под влиянием молодого Маркса. Но это было подсознательное стремление – совместить желание

опубликовать книгу, быть известным и одновременно работать в рамках идеологических.

Ф.: Как интересно.

Ц.: Конечно, конечно. Вот это книга моя 74-го года, но первая книга у нас с Клянкиным была в 68-м году. Я студентом опубликовал книгу, она конечно… Игорь, я помню, мы в «Комсомолке» работали тогда, Игорь опубликовал … серьезный такой, это «Теория труда», «Теория отчуждения», а у меня там глава о простых нормах морали, вот тоже интересно взять эту книгу 68-го года – это 30 лет назад, это 20 лет до перестройки. Там, конечно, идет игра с цитатами из Ленина, но это игра, а если посмотреть, то это конечно антимарксистская книга.

Ф.: Скажите чуть-чуть из Вашего опыта, что это значит играть по этим играм?

Ц.: Значит, разрушать систему изнутри. Потому что. Мы же студенты философского факультета, у нас же много трагических случаев, у меня 5 самоубийств на одном курсе. Пять самоубийств за пять лет по политическим мотивам. Скоб выбросился, просто разбился, Рюмин повесился, вот. Ну это просто люди может быть более честные, они просто не принимали систему, видели тупик и кончали жизнь самоубийством. Вот это наш философский факультет, из стапоступивших в 63-м году 5 человек покончило жизнь самоубийством, т.е. это вам говорит насколько… А люди, которые работали вот в этой парадигме такой, хотя это уже все было видно уже в 68-м году меня обвиняли в антимарксизме, в пропаганде хритианства. Даже вот эта моя хитрая бесседа о нравственности, я узнал ее в ЦК комсомола, это уже понятно, как обычно все издавали учебник по морали «Основы классового подхода», «Марксистская теория сознания», а я поставил так «Проблемы совести морали» и все. Это была такая брошюрка, которая издавалась в системе политического просвещения молодежи. Представляешь, что мы делали? Добро и зло.

Ф.: И это было под влиянием «Вех»?

Ц.: Это уже было под влиянием «Времени». Это уже был 68-й год, это уже время Чешских событий и это время, так сказать, прорыва. В литературе, я же говорю, появляется Виктор Астафьев раний, это «Кража» - его детские воспоминания. Они конечно абсолютно… Поэтому жтот период саморазрушения он шел, другое дело, что это все время на грани. ЦК комсомола взяли, ну а потом выкинули и заставилитри раза защищать докторскую диссертацию. Найдите мне такого человека, который по идейным убеждениям мог три раза написать и три раза издать эту громадную книгу и еще остаться живым и улыбаться. Но это уже проблема, так сказать, сопротивляемости, умения жить в системе, это проблема еще оптимизма. Это уже личная проблема, проблема людей, которые рождаются на юге – мы более оптимистичные, мы более живучие просто.

Ф.: Были ли моменты, когда Вы играли по этим правилам, боролись каким-то образом против системы изнутри, но был ли какой-то страх перед системой и как справляться с этим страхом?

Ц.: Это тут есть такой закон риска. Главное, вот когда ты… а я рано начал публиковаться, уже в 57-м в 16 лет в юности уже публиковал первую свою статью, она довольно абстрактная о понятии счастья, 57-й год – 40 лет назад. Это для человека пишущего, конечно, расчитивающего на признание, это конечно, не очень моральные инстинкты – честолюбие, желаниебыть известным – намного более важно для нас всех, кто вот потом стал и имена которых связаны … было важно написать то, что разрушает. А что будет со мной потом? – это не волновало. Т.е. в сознании у тебя существует вот установка на то, чтобы обмануть и издать. Конечно, это плохо для жены, для детей, и поэтому это была вечная нищета до 88-го года, конечно меня никто не посылал на Запад, всегда был страх – антисоветчика, это было всегда. Но, тем не менее, это вот было желание сделать нечто такое, что другиеи рискнуть не могут. Это, конечно, уже проблема не психологическая, может быть это проблема морального такго, игры какой-то, но это было и этот прорыв играл громадную роль, Тут, я бы сказал, это уже азарт игрока. Главное вот сейчас выиграть, а что потом?

Ф.: Как Вы реагировали на дисседентскую мораль «не живи по лжи», «говори правду, даже когда вы не выиграете». Как Вы реагировали, или Вы не знали об этом?

Ц.: Ну, почему, мы знали об этом, весь этот сборник «Из под глыб», мы очень хорошо его знали. Сахаров был социалист, поэтому я никогда не любил Сахарова и до сих пор его не люблю, уважаю его роль, но для меня он совершенно чуждый человек. Шахаревич тогда тоже был социалист, кстати, такой. Намного ближе мне по мировоззрению бял Леонид Бородин, который просидел настоящих 14 лет в тюрьме, но для него, вот я сним общаюсь лично, для него другая парадигма была. Он может быть не очень талантливый и не может… Он играл в другое, ему хотелось быть проявлением открытого противостояния системе и сам факт, что система его уничтожала и убивала … Это другая мораль. Но это мораль человека, который может самоутверждаться и быть самодостаточным только политически. А при всем уважении к нему, тексты и то, что они писали в этой Ленинградской группе, они смешные эти тексты. Поэтому дисседентская играла роль, но куда больше для меня, чем вся дисседентская литература там «Чивенгур» или «Котлован» Платонова – в сто раз более сильнее. Тем более, само это дисседенство оно же было очень разное, были типа Леонида Бородина…

Ф.: Я просто интересуюсь имело ли на Вас это все влияние?

Ц.: Имело конечно, этот сборник «Из под глыб» имел громаное влияние. Солженицын имел громадное влияние. Ну а дисседенты-правозащитники, они все социал-демократы. Я уважал их дело, но они мне чужды по мировоззрению - они социалисты.

Ф.: В Вашем мировоззрение вот в те года играло ли роль религия? Вы были религиозным человеком?

Ц.: До 12-13 лет – да, меня мама воспитывала, водила в церковь. У меня в детстве были видения Бога, я обладал этим сознанием, что Бог на небе и я его видел, вот когда мне плохо, когда были разные плохие ситуации в жизни, я обладал этим сознанием.

Но где-то к 15 годам, ну в силу того, что это началось приспосадливание к советской системе, с бабушкой мы ходили в церковь, но только уже на Пасху, т.е. было уже обрядовое. Т.е. мама на Троицу убирала дом и т.д. Мать была провославная, хотя мать ее была католичка, она умерла. А у меня было более сложно, потому что сестра моей бабушки, Добровские поляки, она водила меня в костел может быть даже больше, чем в православный, но она была как фанатичка с этими черными четками каталическими, поэтому, честно говоря, я как послушный мальчик, потому что сестра твоей бабушки приезжает за тобой в воскресенье надо ехать на Дерибассовскую в костел.

На службу я ходил года три-четыре, но каталическое во мне оставило, вот наверное связанное с фигурой сестры моей бабушки, какую-то такую жесткость – она была очень фанатичной каталичкой. А православный мир, и я крещенный православный, и мать у меня крещенная и отец, православный мир мне казался более радостный. Хотя конечно, теперь, когда я в Польше я иду в кастел и я не иду туда как в нечто чужое. У меня нет такого ощущения, но все равно мироощущение православное. Может быть это влияние православной русской философии, Сергея Булгакова, я много читал.

Ф.: Это было как бы чувство ощущения религиозной культуры, чем веры?

Ц.: Да. Это совершенно может быть так, но в детстве ощущение веры и само это вот умение…

Ф.: Ну, например, влияние «Вехи», потому что в одном смысле это религиозная книга, в широком смысле.

Ц.: Это да, но к сожалению, это уже более серьезная проблема, внутренняя, я, как Толстой, уже начал писать о моем отношении и ощущении веры. Само это ощущение трансцендентности… Я понимаю, что храмы…

Ну, у меня дедушка лютеранин и у меня по линии латышской лютеране. Я написал это. Я люблю с Богом выяснять отношения сам с собой, как со своей совестью. А служителю культа, как посредник, я бы никогда не иссповедовался в католическом храме иссповедуются может быть. Это проблема вот моя личная – как я. Проблема Бога, это проблема такого очень, как бы сказать, обостренное чувство совести появляется и когда в душе начинает что-то светиться, то конечно присутствует, все-равно живем банальной жизнью, банальные люди, но она тогда... Но это я сам должен. Здесь я ближе к Лютеру вообще. Я Лютера хорошо знаю, здесь я сам хочу найти. Мне не нужен ни поп, ни каталический… Хдесь, вот в этом отношении, как мне кажется, странно, но мне ближе вот эта лютеранская вера.

Ф.: Но Вы это как бы до перестройки, скажем 10-тилетие до перестройки, в Вашей внутренний вере в советской системе, о чем были Ваши мысли?

Ц.: Ну, честно говоря, ведь не было, вот это надо честно сказать, никто в мире не знал и не знал это Дзержинский – всве это глупость, что совесткая система умрет там в 80… Никто в мире. Все прекрасно понимали, что при нашей жизни это никогда не кончиться. И здесь я умника такого нигде не видел. Вот, поэтому проблема вот этого разделения и нахождения… Ну, по-крайней мере, тут же надо быть очень осторожным в отношении советского периода, потому что отношения человеческие, вот я помню

отношения в нашем институте, коллективе, между людьми, отношения к «Комсомольской Правде» в рамках советской системы, были абсолютные отношения совести. Как правило, никто друг друга не предавал, как правило друг другу помогали, как правило были близки. И поэтому я вот думаю все эти истории с коммуналками и т.д. Т.е. надо быть очень аккуратным. Это был…

Сейчас этого нет. С этой точки зрения страна сейчас намного хуже в моральном состоянии, чем была в совесткую, потому что когда существует эта тоталитарная система, она пробуждает инстинкт противостояния и она пробуждает инстинкт целого морального комплекса поведения людей, и поэтому, главное, чтобы среди друзей тебя никто не посчитал предателем, чтобы ты не стал донощиком, чтобы ты не писал доносы. Вот уйма, уйма было таких вот парадигм поведения, которые не просто подрывали советскую систему, а осугубляли ощущение совести и совестливого поведения, чего может быть даже нет в современном Западе.

На Запад я посмотрел, особенно в США, я просто испугался, откровенно говоря. Там очень мало людей, которые действительно серьезно озабочены духовнями проблемами. Они действительно, как правило, люди могут быть образованные, особенно вся эта левая интеллегенция, почему я не люблю эту левую западную интеллегенцию. Она вся антихристианская, она вся антимарксистская и она вся… от нее веет вот этим релятивизмом, что нет вот проблемы добра и зла, а есть проблема содержания, весь этот пост-модернизм, который так активно сейчас пропагандируется на Западе. Так я с этой точки зрения советские люди были куда более совестливые, чем культура современной, я имею в виду, современную интеллегенцию, включая французскую интеллегенцию, которая любит на революцию, любит гильятину и т.д., и Робеспьера и всех героев, и до сих пор любят Ленина и т.д. Я во Франции много бывал, правда я дурак как-то сказал им все это в лицо. Все, с тех пор они меня уже не приглашают, вот.

Ф.: Когда мы говорим о перестройке и о Ваших писаниях о сталинизме и т.д., Вы работали в ЦК КПСС, что внутри происходило внутри Вас, когда Вы писали эти вещи? Это было что-то большой момент для Вас?

Ц.: Нет, это был большой момент. Это все писалось удивительно легко. Теперь, конечно, смотришь на тексты… Да, это было как кусок моей личной биографии и не только моей личной, а это уже часть духовной биографии страны. Это как вылилось, просто вылилось. Вот бывает, что всегда хотелось что-либо сказать, а тебе… и ушло. И абсолютно не волновало, что будет. Ну выгонят меня завтра из ЦК – по логике должны были выгнать, но хитрый Горбачев сказал: «Ну, что выгонять Цепко, он же еще не все опубликовал, там же говорят, у него четыре статьи». Вот на Политбюро это обсуждалось. Ну, что выгонять? Выгонять, говорит, проще всего. Это вылилось.

Ф.: И это вылилось просто изнутри или из разговоров внутри семьи? Откуда?

Ц.: Нет, там была очень жесткая идеологическая доминанта и здесь ужес Игорем Клямкиным мы были тогда не примиримые противники, хотя были друзья. Это реакция на его статью «Какая дорога ведет к краху». Его статьи релятивисны, он там оправдывает Чернышевского, социализм, он пишет, что сталинизм был неизбежен.

Ф.: Это где было опубликовано?

Ц.: В «Новом мире», 87-го года. Что сталинизм был неизбежен, что Россия не могла избрать другой путь - модернизация – кроме этого пути и т.д. А я встал на абсолютно нравственную точку зрения и писал о том, что преступление есть преступление, вот и все. Т.е. я встал на чисто такую, анти-… Может быть в историческом плане он во многом прав, но это проблема в том, как я видел мир в тот момент. Я считал, вообще, это же была не просто борьба, это же была очень глубоко идейная борьба в то время. Я посчитал, что оправдание Троцкого, Зиновьева, Каменьева, Бухарина… Ведь чем занималась вся нынешние антикоммунисты? Посмотрите, что писала Галина Старовойтова, Юрий Афанасьев, я уже не говорю о многих других. Юра Карякин и т.д. Они говорили, что сталинизм это вот связано лично с ним, что это вот извращение системы, а сама система имела элементы романтизма, поэтому я решал не только проблему, я решал чисто жесткую логическую задачу. Я хотел показать, что проблема не в Сталине, а в самой ложности и анти-христианской природе этого мировоззрения. Эта парадигма была жесткой.

Ф.: Но Вы, значит, пришли к этому выводу 20 лет раньше или?..

Ц.: Я пришел к этому выводу уже где-то в 66-м-67-м году.

Ф.: И просто молчали, ждали правильный момент?

Ц.: Ждал, я же говорю, мы же работали как тгроки, как самоубийцы. Вот настал момент, а это же все было… Кто-то думает, что Яковлев дал мне задание – все это глупость. Потом уже.. я просто… Это игра. Никогда бы в жизщни не были бы опубликованы эти статьи, если бы я не был работник ЦК КПСС, учтите. Цензура бы никогда бы не пропустила. Эта работа через шок. Идет текст абсолютно по тем временам как молния, идет текст, а я хорошо знаю совестскую систему. Если человек находится там, значит это кому-нибудь нужно. И поэтому цензура это пропустила. В этом смысле это был, конечно, просто очень расчетливый поступок человека, который идет на разрушение - действительно посде этого уже все – идет на разрушение идеологической системы, но прекрасно зная как это сделать по законам этой системы.

Ф.: Я понимаю, но я хочу задать вопрос – как можно спорить на абсолютные ценности, когда Вы 20 лет молчали и сказали, ну нужно ждать момента?

Ц.: Нет, я никогда не молчал, это не верно. Молчал потому что…

Ф.: Нет, я не критикую…

Ц.: Нет это ВЫ просто не знаете. В 68-м году я опубликовал «Бесседы о нравственности», в 68-м я написал анти-марксистскую книгу. Я с Игорем Клянкиным, мы сделали серии статей в журнале «Молодой коммунист» якобы о социалисте ... но там явно выступали с анти-марксистких, анти-тоталитарных позиций. В 80-м году я опубликовал книгу «Социализм в жизне общества и человека», где я абсолютно

написал все то, что было опубликовано в 88-м году. Я Вам могу просто тексты по кускам…

Другое дело, что я хитрил в сносках и т.д. Это была абсолютно постоянная работа, я никогда не молчал. И самое главное, ведь у меня бвл такой уникальный период, мой польский период, я же прожил в Польше почти 2 с половиной года 78-й, 79-й, 80-й, начало 81-го.

Ф.: И это влияло на Вас?

Ц.: Ну, во-первых, это мне дало возможность писать то сто я не писал. Я в «Студиэ философичнэ», посмотрите это считается идеологическим документом Солидарности, но это было случайным. Моя статья – подленник противоречья социализма. Она абсолбтно анти-марксистская и анти-социалистическая, и это 80-й год.

Ф.: Где это опубликовали?

Ц.: В «Студиэ философичнэ» - это польский журнал. В 80-м году номер 8. Пожэтому, что Вы, я публиковался. Другое дело, что многие на Западе не знали, что это пишет совествий человек. Я публиковался там. У меня выходили во всех журналах. Во-первых, я защитил же хабилитацию полную, я хабилитованный в Польше доктор, и у меня диссертация – подлинное противоречие социализма. Весь второй том – весь анти-марксистский, и это было в 80-м году издано. Поэтому то, что было в «Науке и Жизнь» – абсолютно ничего нового, все это было в Польше уже изданно. Другое дело, что это я просто попал в ту идейную среду, в идейную атмосферу, которая предшествовала появлению Солидарности, и которая, практически, уже расскрепостила. А я в то время был официальный доцент Польской Академии Наук, Института философии и социологии. Это была моя должность, я был исследователь и поэтому я… Это смешно, это только мои недруги говорят, что вот Цепко всю жизнь молчал. Нет, это все уже было сделано в 80-м году, все по нотам там было это.

Другое дело, что, вот конечно, сложная проблема – это несчастные наши работники посольства, эти работники КГБ, которые нас раз в месяц вызывали. По логике они должны были… Кстати, он очень был умный, по-моему, Балыкин его фамилия. Он очень хорошо ко мне относился как к человеку. Он раз в месяц, а потом даже раз в неделю вызывал меня к себе в кабинет спрашивать о ситуации в Польше. «Как Вы понимаете, Вы же ученый, природу Солидарности и т.д.?» Я ему объясняю и т.д. А я вижу, что он включает магнитофон, где-то в другом помещении. И вот он меня всегда садил и потом уходил, и я понял, он меня сажает на том месте, где микрофон. И он мне никогда слова не сказал, но дал понять, что Саша, это я делаю просто по долгу службы, потому что… о твоем мировоззрение, сто ты думаешь и т.д. Но тут тоже, как исследователь я ему говорил, что Вы должнывот это понимать и вот это понимать, что ситуация эта происходит, что ситуация необратима, что социализм в Польше уже умер. Там много вещей, которые я для него говорил и объяснял, что отсоединение рабочего движения с костелом – это смерть социализму … А здесь вот эта Солидарность, я кстати, пишу сейчас о Новой Солидарности, я был только что в Польше. Вот, я объяснял, что… в данном случае, я уже говорил с государственником - в данном случае Вы должны понимать, что Вы должны искать союзника в этом поле. Он на меня орал: «Ты не понимаешь, ты дурак! И если я не дай Бог там с твоими друзьями сяду выпить

кофе, то меня сразу отсюда выгонят, потому что мы должны общаться только с марксистами» и т.д. Но, т.е. это была такая игра профессионала иссследователя, но с другой стороны это меня спасало, потому что, по-крайней мере, меня никто не выгнал из Польши и я прожил может быть свои самые, в духовном отношении, самые счастливые годы жизни. Я не пережил перестройку так глубоко, как я пережил годы Солидарности в Польше.

Ф.: И в партии и в ЦК Политбюро, как важно по–вашему были моменты совести? Потому что часто говорят, что перестройка была политическая и экономическая….

Ц.: Я думаю, что насколько я вт знаю лично Горбычева, конечно там такой момент органической совести сыграл громаднуб роль. Его анти-… ну я просто знаю лично, наверное, никто в мире так много не бесседовал с Горбачевым столько, сколько я, тем более мы сейчас вернулись из Японии, мы были там две недели, вот. Он не анти-коммунист, но он стихийный христианин, вот то, что он называет социализмом это он болотает, он просто может быть недостаточно подготовлен для этого, но у него стихийно нравственная позиция, и то, что он делает это не во имя того, что… Он, конечно, не понимал, что он разрушает систему, он может быть себе придумал, что вот если переделать чуть-чуть социализм – эт, кстати, Дубчик был точно такой. Что, Пеликан не был такой. Они были точно такие, они думали, что можно соединить социализм с совестью.

Ф.: Потому что когда-то, в самом деле в собрании статей Яковлев в одной речи в Ватикане говорил, что «перестройка - это была революция совести». Это преодоления чего-то, за что мы стыдимся. Это или преувеличение, или может быть это пропаганда как раз…

Ц.: Нет, как раз эта фраза из моей речи и это вначале, когда Яковлев был в Ватикане, но Яковлев, по-крайней мере, не знаю, мне трудно сказать, потому что с Яковлевым, как ни странно, был ближе, но никогда так много не общался как с Горбачевым. Я думаю, что… мне трудно судить, и это не мое моральное право судить, но эта фраза, что «перестройка - это была революция стыда и совести», это просто моя фраза, это я написал.

Ф.: Но он верил? Это тоже была его философия или…

Ц.: Это Вы ему задавайте этот вопрос. Это мне трудно сказать, у меня было убеждение, что когда мы общались, он верил. Но для меня это трудно. Я не имею право, потому что…

Ф.: Ну это то, что Вы говорите, в одном смыле, довольно важный момент в партии был стихийный христианский момент …

Ц.: Это несомненно. Это было даже у Хрущева, который начал борьбу со сталинизмом.

Ф.: И это было от русской культуры…

Ц.: От русской культуры и, я думаю, просто от нормальной человеческой души. Ну не может человек привыкнуть, что убивать, убивать, убивать, и это хорошо, ну не может нормально, положить гору трупов и считать это нормальным – ну не может нормальный человек. Так что я думаю, что здесь… Это было везде и в этом смысле, я думаю тоталитарная система существовала только тогда, когда Сталин довел этот механизм страха до нечеловеческих форм. И как только…

Ф.: Да, я согласен.

Ц.: И все. Она начала рассыпаться по всем эта вот… А те, кто не были в этой «зоне страха», тех стариков, которых я описывал, которые с дедушкой моим ели манную кашу, прятались еще свет не всегда ночью был, и сидели и вспоминали. Это просто была старая Россия. Поэтому мне кажется, вот даже если объяснять смысл моих статей, подоплеку, это контр-революция, но контр-революция не связана же с одним поколением, контр-революция имеет инерцию. И я просто инерция Белой контр-революции, христианской Белой контр-революции. Она просто передалась во мне или может быть в других, вот и все. Это контр-революция. Мы просто потомки тех, кто с оружием в руках боролся, но не сумел победить. А мы оказались хитрее и мы победили, вот и все. Но мы делали, в общем-то, «белое» дело. Поэтому, конечно, мне белогвардейцы очень близки при всей там грязи и что с ними там было связано, особенно на последнем этапе. Врангель, Деникин, колчак – это для меня герои, вообще-то. Я не вижу героев в России, кроме них. Мы просто, так сказать, контр-революционеры, которые оказались хитрее. Вот и все. И победили. Другое дело, что победа не досталась нам, а досталась опять марксистам. Ну…

Ф.: Может быть что-нибудь добавите?

Ц.: Нет, думаю не надо.

Ф.: Спасибо, так полезно. Могу ли я употреблять? Цитировать?

Ц.: Да, конечно.

English summary

This is a condensed summary of some of the main points of the interview, in the first person, not an exact translation

Oleg Drobnitsky's dissertation fell entirely outside the Marxist framework.

The importance of the 1968 conference in Tbilisi on 'Current problems in Marxist ethics', under the editorship of Bandzeladze, which included an important essay by Milner-Irinin. Also Pomerants's book on Dostoevsky.

The crisis of the Soviet system, when the paradigm of conscience, came to dominate in literature, cinema etc, was Khrushchev's thaw.

DeStalinization was not real. Stalin's repressions did not different from Lenin's. Marxism as class war was essential to communist ideology. But that began to change in the 1960s. the 1960s men were social democrats. This school was contradictory. There were pochvenniki, like Valentin Rasputin. This was a break with the class approach, calling to mind Sergei Bulgakov's great essay in 'Vekhi'. Rasputin's importance. The change in paradigm from the class war to the personal conscience. Vasily Shukshin's story 'I believe'.

It is interesting that many of the more Marxist types did well during perestroika.

Conscience is a spiritual instinct of moral reactions, either you have a soul or not. It is a feeling of moral openness to the world, compassion fear of doing evil to another person, hatred of violence. It is something inherent, and it not educated.

I returned to Russia in 1949, having been born in 1949. I lived in Germany and Romania. My father, who had bene a prisoner of war, was interned in 1943, and later rehabilitated. I was a child of the Second World War. I returned to Odessa. In Odessa the Soviet system wa not accepted by all. I did not meet a single person in Odessa who that the Soviet system was better than one based on private property. It was a very cosmopolitan place, with Polish people and others. Other cities too. The whole environment was anti-communist.

One of my grandfathers was in the Cheka, on my mother's side, while the other was of Ukrainian background. They used to gather at home. A colonel in the tsarist army and then a chekist having conversations which were of course totally anti-Soviet. They recalled NEP very warmly. It was old Russia. I was like a person born in 1870, with all their life experience and feelings. I was very politicized by these conversations.

At the Technical Institute, there developed the instinct for self-defence. To preserve oneself, one learned to play by the rules of the game. Unfortunately, one did not sense an inner conflict over the fact that I was doing things against my inner convictions, it was rather more complex – how subtle is the human consciousness.

It was difficult to preserve this duality. All the time there was a kind of compromise, but it was a compromise of survival – did you want to go to prison or not?

I remember the 20th Party Congress. In a strange way, deStalinization actually preserved the Soviet system. The thaw actually extended the Soviet system because of the element of doublethink. Films like 'The Cranes are Flying' and 'The Pure Sky' are actually very moral. We learned to develop anti-system views with the help of the system itself.

Al the 1960-85 generation, evident in people like Ivan Frolov, maintained this belief in a genuine, pure honest Marxism. This was an attempt to preserve oneself as an honest person without stepping back.

Growing up I was very struck by seeing blind people – seeing the sufferings of others opened up my soul.

I was in the Philosophy Faculty at MGU.

The other great influence was Russian idealism and particularly 'Vekhi'. I read it in 1964 which was in my second year at MGU – it was there in the library. It was never a completely totalitarian system. You had to get special permission to rad Eric Fromm. Berdiaev, Frank and Bulgakov were particularly dangerous.

I never believed in Marxism. I experienced a phrase when was interested in the young Marx – his four types of alienation. My book, 'Optimism and History' (1974), was largely written under the influence of the young Marx, but it was really the result of a subconscious aspiration to combine the with to publish the book and to be famous and at the same time to work within the framework of the ideological.

In my book of 1968, there was a chapter on simple norms of morality. There was, of course, the game there – quotations from Lenin – but that was the game. If you look closer, you will see that it was an anti-Marxist book. This was playing by the rules of the game in an attempt to destroy the system from within.

We had five suicides in the Philosophy Faculty in one year – for political reasons. Of 100 students entering in 1963, five committed suicide.

I was accused of anti-Marxism in 1968 and the propagation of Christianity. I did not begin my work with the usual formulation of a Marxist ethic, but instead started with the problem of conscience and morality, good and evil, which was in part under the influence of the writer Astafiev. There was a desire to take more risks than others, and element of a moral game, the risk of a gambler.

We knew about 'From Under the Rubble'. The dissident movement played a role in varied ways. I find Platonov's 'Kotlovan' more powerful. 'From Under the Rubble' had a huge influence. Including Solzhenitsyn. The social democratic dissidents in the human rights movement were foreign to me in their worldview.

I was a religious person until I was 12/13, and went to church, but by the age of 15 when I had started to get used to the Soviet system, it had become a ritual.

My grandfather was a Lutheran. I liked myself to work out my relationship to God. The problem of God is related to conscience. I don't need a Pope. I am closer to Lutheranism.

People in the Komsomol helped one another.

I don't like the relativistic left-wing Western intelligentsia which is so relativist. I sense that Soviet people were more moral than the leftist French postmodernists.

My writings of 1987 were a big moment for me. They flew out of me. Gorbachev said let Tsipko say what he wants to say. My essay was a reply to Klyamkin's 'Which road leads to a church?', in which he justifies Chernyshevsky, saying that Stalinism was inevitable. I stood on a moral position claiming that a crime is always a crime. They would say that Stalinism was a perversion of the system and that it related to personality. I wanted to show that the problem lay not in Stalinism but in the anti-Christian element present in the worldview itself. I had come to that conclusion sometime in 1966 or 1967 but was silent and played a kind of game. A moment came. Take into account hat these essays would never have appeared if I had not been a member of the Central Committee. The censor would not have permitted it. My text was like lightning. But there was actually nothing new in what I said then.

There was also my Polish period -was there from 1978-80.

Gorbachev was not an anti-communist, but an elemental Christian. There was a moral factor there. As with Dubcek there was a belief that communism and conscience could be combined.

The phrase 'revolution of conscience' is my own phrase. I cannot judge how much Yakovlev believed that. There was an elemental Christianity in the Party and it was certainly there in Khrushchev who began the struggle against Stalin.

This was a kind of White counter-revolution, the return of old Russia. We are the children of those who fought but could not succeed. We were cleverer. It was a White victory. For me, Wrangel, Denikin and Kolchack are my heroes.